

САМАЯ ГЛУБОКАЯ ВЕРА

О непреходящем духовном значении прозы Константина Воробьева

Марина Бирюкова

«В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

Константин Воробьев на срочной службе в армии

- Фамилия?
- Русиновский.
- Лет?
- Двадцать три.
- Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно...
- Мне двадцать три года!..
- Бреешь, сволочь. Какой веры?
- Самой глубокой.
- Дурак! Веры какой, понимаешь?
- Я сказал.
- Идиот!

Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии...»

Двадцатитрехлетний лейтенант, попавший в фашистский плен под Москвой, прошедший уже все круги гитлеровского ада, постаревший за полтора года на тридцать лет, дважды из плена бежавший, дважды перехваченный и жестоко

наказанный, полный решимости сбежать в третий раз и не просто скрыться, а именно включиться в битву с адским злом... Это не только герой писателя Константина Дмитриевича Воробьева, это и он сам. В марте сего года исполнится 50 лет со дня его смерти. Мы привыкли к юбилеям – даже и печальным – как к поводам вспомнить о человеке, но повод – не причина; о таких, как Воробьев, нужно **помнить**, а не вспоминать.

Приведенный выше фрагмент – из повести «Это мы, Господи!». День своего третьего, удачного побега из плена – 24 сентября^[1] – Воробьев всю жизнь отмечал как второй день рождения, и это привело даже к ошибке и путанице в некоторых опубликованных биографиях. В рассказе «Уха без соли» говорится, как два бывших беглеца – автор, надо полагать, и его товарищ – ежегодно отмечают этот праздник вдвоем, далеко от людей, у костра, и дарят друг другу то, чем питались в побеге: «по большому листу сахарной ботвы и по одной брюкве, величиной с кулак». В эти минуты им не нужен никакой третий, но третий таки приходит на свет их костра. И они узнают в обычном, казалось бы, рыбаке, бывшего полиция, лагерного охранника... отсидевшего уже, правда, за свое предательство шестнадцать лет. И находят в себе силы – если не простить, то пожалеть его. В самом деле – разве они не счастливее, чем этот человек?..

Братья Василий и Константин (справа) Воробьевы в год окончания войны

Константин Воробьев (1919–1975) происходил из крестьян Курской губернии. История его рождения и воспитания не совсем обычна. Дмитрий Матвеевич Воробьев, отец семейства, в котором будущий писатель вырос, тоже перенес немецкий плен, но – во время Первой мировой войны. Он не имел возможности дать о себе знать семье на протяжении пяти лет. А его законная супруга Марина Ивановна (это имя Воробьев потом даст героине повести «Крик», а затем попросит свою дочь именно так назвать внучку^[2]) – полагая, возможно, что мужа в живых нет, – тем временем родила мальчика Костю. Супруг вернулся... но дело кончилось миром. Из семерых детей, росших в этом доме, только Костя был неродной отцу, но Дмитрий Матвеевич – мудрый и добрый человек – усыновил его и относился к нему так же, как ко всем другим. Как рассказывает в своих воспоминаниях о муже^[3] Вера Викторовна Воробьева (Дзените), рядом с ними жила сестра Дмитрия Матвеевича – «набожная, смиренно-кроткая женщина. Она рассказывала маленькому Косте о святых, о Священном Писании, о Боге... он всегда с благодарностью вспоминал это непорочное, отрешенное от жизни существо».

Бедствия семьи Воробьевых начались, когда отца (или отчима), который заведовал сельским магазином, обвинили в недостатке и арестовали. С той поры Косте пришлось самому зарабатывать на хлеб, и не только для себя. В 1933–1934 годах в курские степи пожаловал Голодомор... Голодный, но смывленный и не лишенный честолюбия мальчик рано проявил литературные способности: в 16 лет стал селькором районной газеты, потом, служа срочную – литсотрудником армейской газеты «Призыв». Потом пришел работать в редакцию газеты, которую издавала Военная Академия имени Фрунзе; там получил направление в знаменитое Московское Краснознаменное командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Кремлевский курсант ростом 183 сантиметра – именно такой рост требовался в его наборе: одинаково рослые красавцы должны были нести почетный караул у мавзолея Ленина... Но вышло иначе: лейтенантам ускоренного выпуска пришлось буквально своими телами закрывать от гитлеровской орды Москву. Страшная судьба этих ребят, воинов и жертвенных агнцев, – в повестях Воробьева «Убиты под Москвой» и «Крик». Эти повести невероятно детальны – вместе с их героями мы проживаем каждую минуту запредельного бытия. Чтобы вырваться из ужаса, из отчаяния, спасти свое сознание от задаваемого в пустоту вопроса – как же так, нам ведь говорили, что мы будем бить врага на его территории и побеждать малой кровью! – нужно сходу достичь высшей точки человеческого мужества, и они ее достигают. Но молодость непобедима, и даже в этой ситуации оказывается возможной – и неизбежной! – любовь, первая, чистая, сильная...

Большая часть кремлевских и не только кремлевских курсантов в начале войны погибла, но для некоторых из них самое страшное оказалось впереди. Сколько русских воинов могли бы повторить слова князя Игоря: «Луце жь бы потяту быти, неже полонену быти»!

Рассказы и повесть Воробьева о пережитом в плену тоже детальны, подробны: он не считал себя вправе что-то скрывать, он должен был сказать об этом всё до конца. Мы видим воистину адские муки человека, солдата, который хотел бы погибнуть в бою, защищая Отечество – а вместо этого «доходит» на нарах в бараке среди таких же бредящих и беспомощно плачущих дистрофиков, как сам. Перед нами – картина крайнего унижения человека; нам очевидно намерение мучителей – довести свои жертвы до неменяемого скотского состояния. Мы видим ненависть нацистов к русским пленным, ненависть тоже адскую, бесовскую, ибо иррациональную – ведь, если разобраться, эти русские не сделали немцам ничего плохого и уж точно не звали их на свою землю.

«Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над нею, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.

– Ну добавь... Ради Христа добавь!

И полицейский “добавлял”. Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утопанный тысячами ног и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды» (повесть «Это мы, Господи!»)

Таких цитат из Воробьева много можно было бы еще привести. Однако его концлагерная проза – не беспросветная хроника ужаса, но история борьбы человека с этой адской силой, история ее преодоления. А что сильнее адовых врат, если не то, что в каждого человека – пусть даже и неверующего! – заложено изначально Богом? Герой повести «Это мы, Господи!» лейтенант Сергей Ястребов ощущает в себе это – заложное, человеческое, непобедимое – почти физически. В книге есть тяжелая натуралистическая сцена, когда товарищ Сергея спасает его, заразившегося дизентерией, искусственно вызывая рвоту.

«– Больше в тебе нет ничего, – успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось. Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что есть там, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это “то” можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить “то” от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только “то” и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы <...> оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав, и не испаскудив ничем. “Терпи и береги меня, – приказывает оно, – мы еще дадим себя почувствовать”».

Что же это за ингредиент такой в измученном доходяге? Это та самая глубочайшая вера – уверенность в своем человеческом достоинстве и ценности. Она не позволяет согласиться со злом, она не дает человеку превратиться в замученное и озлобленное животное. Герой рассказа «Немец в валенках» получает от сжалившегося над ним немца (попадались и такие среди них – особенно после Сталинграда) хлеб, да еще и намазанный маргарином. Герой сам из доходяг, его сильно штормит при ходьбе –

но вместо того, чтобы проглотить этот бутерброд в одиночку, он ломает его на две части и несет двум таким же страдальцам, как сам. Казалось бы, ну кого спасет эта кроха хлеба с каплей маргарина? Но лагерный опыт героя говорит, что она может сейчас спасти человеческую жизнь. Так и выходит... В том же рассказе глаза умирающих от голода узников названы святительскими, то есть – иконными: лица мучеников превращаются в лики.

Пресеченная попытка побега из лагеря влекла жесточайшее наказание: если не расстрел и не повешение на глазах у всех, то жесточайшее избиение и затем – «сухой» карцер, семь суток без еды и воды... Тут даже физически выжить невозможно, это же понятно. Не чудо ли, что выживали?.. И каким надо быть человеком, чтобы, пережив это дважды, бежать в третий раз? Лейтенант Воробьев оказался таким сам, потому и герои его таковы. И не для того они бежали, чтобы просто скрыться, спрятаться, найти какую-то еду и дожить до лучших времен – но для того, чтобы сражаться. Когда побег Воробьева увенчался, наконец, успехом – а это было в Литве за год до прихода Советской армии, – он стал командиром партизанской группы, состоявшей из таких же отважных беглецов, и она работала весьма результативно. После освобождения Шауляя от гитлеровской оккупации лейтенанта Воробьева назначили начальником ПВО этого города.

Там же, в Литве, он встретил свою жену, Веру

Вера (Вероника) Викторовна Дзените. 1944 или 1945 г. Литва, Шауляй

Дзените^[4]: первый раз девушка увидела

суженого под немецким конвоем, среди

выведенных из лагеря на работы... А потом, после побега, она его – больного, с высокой температурой – прятала у себя дома. А потом, уже командуя партизанской группой в лесах, Константин (долгое время называвший себя Борисом) приходил к Вере – и они вдвоем (он с револьвером наготове – на всякий случай) уходили в глухой запущенный парк, где будущий писатель читал любимой стихи Есенина и Блока. Уже тогда они решили пожениться и обручились медными колечками, которые Верина мама купила для них на базаре. Вера Викторовна стала верной спутницей жизни Константина Дмитриевича и до конца исполнила свой перед ним долг после его смерти. Живой образ Константина Дмитриевича хранят воспоминания супруги – «Розовый конь», именно так он мечтал назвать свою «главную книгу»^[5].

«Однажды, в 1946 году, – пишет Вера Викторовна, – он (Константин Дмитриевич. – М.Б.) пришел на обед из штаба возбужденный и сказал, что полученный офицерский паек раздал немецким пленным, которые ему

встретились на улице Дваро...».

Читая это, я подумала: он не стал бы таким писателем, каким стал, если бы такой поступок не был для него естественным.

Именно в мемуарах супруги я нашла ответ на вопрос о христианстве Константина Воробьева (потому что та вера, о которой шла речь выше, – это еще не всегда христианство). По свидетельству Веры Викторовны, Константин Дмитриевич всегда заходил в маленькую церковь, которая стояла на его ежедневной дороге,

«...снял шапку и несколько минут стоял молча. Молился ли он, я не знаю. В день отправления в журнал или редакцию рукописи... он не раз заходил в церковь, ставил свечи, раздавал милостыню. Дома мы зажигали лампаду перед иконой, стоящей на книжном шкафу. В такие минуты он не раз вспоминал то необъяснимое, что произошло с ним в лагере. Во время тифозного бреда, когда он открывал глаза и приходил в себя, перед ним в углу отчетливо возникал образ Девы Марии. И так три дня... Если бы мне пришлось ответить на категорический вопрос, верил ли он в Бога, я бы сказала: “Да”».

Фрагменты из записных книжек Воробьева, приводимые Верой Викторовной:

«Это те, кого уже не убедишь, что Христос воскрес, кто не знает, что такое тихая ночь, и луна, и звезды, и покой в мире».

«Коммунисты, разорив в 1929–1930-е годы церкви, и казнив священников, и охулив перед народом веру в Бога, низвели этот народ до степени мерзостного стада обезьян».

*Вера Воробьева с дочерью Наташей. Конец 1945 г. Литва, Шяуляй, ул. Маритес
Мельникайтес*

Вера Викторовна рассказывает также о жесткой проверке, которую пришлось выдержать ее супругу, как и другим бывшим пленным, после освобождения Прибалтики от гитлеровцев:

«Часто вызывали Константина Дмитриевича в органы безопасности и держали там до утра. Грозили, оскорбляли, выказывали недоверие...».

От лагеря («родного» уже, советского!) спасло то, что Воробьев пользовался большим авторитетом среди вчерашних партизан, да и потом в НКВД тоже встречались благоразумные люди. Но вот это подозрительное, недоброе отношение

к бывшим пленным стало его раной на всю жизнь. Убеждение, что всем выжившим в нацистском аду нужно давать ордена, выражено в неоконченной повести «И всему роду твоему» (это уже мирная жизнь, но герой – бывший пленный и партизан) и в иных произведениях.

Дом на улице Веркю в Вильнюсе – здесь прошли последние годы жизни К. Д. Воробьева

Воробьевы остались в Литве, там родились их дети, там, в 1956 и 1958 годах, вышли первые сборники рассказов Константина Дмитриевича. Он любил Литву, край чистых лесов и озер, любил и ценил литовцев за лучшие качества их национального характера^[6], но очень тосковал по России, хотел «в Русь». Дочь писателя Наталья Воробьева в своем эссе «Фантом» говорит о «неизбывной грусти во взгляде, устремленном далеко-далеко, в иные пределы, за границы земли, на которой ему выпало жить, но не родиться». Однако все планы переезда – в соседнюю Псковскую область, в Ленинград, в Подмосковье – почему-то срывались. Жизнь Константина Дмитриевича оказалась короткой, а смерть – страшной: его убил рак головного мозга; об этой жуткой эпопее Вера Викторовна в «Розовом коне» рассказывает подробно. Она свидетельствует, что перед операцией (увы, не спасшей) «...лицо его стало таким, каким оно бывало в минуту наивысшего духовного напряжения. Мы простились, и он четко произнес часто повторяемые им слова: “Главное – чтобы всегда и везде вести себя достойно”».

Писатель был погребен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, а перезахоронен в родной курской земле – лишь в 1995 году усилиями супруги и земляков-курян.

*Могила Константина Воробьева и его супруги на
Офицерском кладбище в Курске. Надгробие работы
Владимира Бартенева*

«Возвращаясь в Москву из Курска, – пишет Наталья Константиновна Воробьева в эссе “Фантом”, – мама много рассказывала о тех трудностях и всевозможных препонах, которые приходилось преодолевать ей сообща с курянами, с первых дней добровольно подставившими ей свое надежное плечо, после того, как она выполнила последний наказ мужа и перезахоронила его прах на родине. Она испытывала настоящее потрясение, когда говорила о бескорыстии и бесстрашии людей, совершенно не знавших отца (только по книгам!), никогда не встречавшихся с ним в реальной жизни, но смело рванувшимися в бой за честь земляка, когда потребовалось...»

Как писатель, Воробьев был великий

Воробьев Константин Дмитриевич

труженик. Люди, знавшие его близко (в

первую очередь, конечно, супруга), свидетельствуют, что работал он много и тяжело, потому что – предельно ответственно (это отражено, кстати, и в некоторых его произведениях, герой которых – писатель («Вот пришел великан», «Гуси-лебеди», «Во гробе сущий», «Почем в Ракитном радости»). Константин Дмитриевич всегда был недоволен собой, тем, что сделал; он был странно подозрителен к себе самому – искал в своих текстах фальшь, которой там не было. Могу предположить, что ему всегда нужен был градус правды – более высокий, чем тот, которого он смог достичь; отсюда постоянное «самоедство». Это – как святой, который, в отличие от обычных людей, знает, что он великий грешник.

Однако какого же нужно было достичь мастерства – всеохватного, видящего мир цельным, нерасколотым и живым, – чтобы написать такой рассказ, как «Седой тополь»? В нем красота могучего дерева соединена с человеческой трагедией; дерево, которое должно было бы уже погибнуть, живет ради людей, чтобы им помочь:

«...посреди лагеря стоит тополь, – огромный, прямой, старый. В тихие дни его раскидистая крона зеленеет светло и прозрачно, а под ветром с моря тополь напрягается, гудит и листва его становится седой, почти белой. От земли и пока достает рука самого высокого человека тополиный ствол лишен коры, – объели пленные. А тополь почему-то не засыхает и листья на нем не свертываются в трубочку, не жухнут. На станции известно, что по утрам пленным выдается черпак воды на каждого и буханка эрзац-хлеба на двенадцать человек. Днем тот же черпак сизой мути – баланды из костяной муки, а вечером снова вода. И еще знают на станции, что голод и тоска в лагере – сильнее тифа и тяжелее ран, потому что и в предсмертном бреде пленные не забывают о хлебе и Родине...»

Но произведения о войне и плене – лишь часть творчества Константина Воробьева. Другая его боль, и боль огромная – трагедия русского крестьянства, коллективизация и раскулачивание, свидетелем коих он оказался, будучи подростком. Герой его рассказов и повестей – тоже подросток, человек с незрелым, беззащитным сознанием, он не готов к происходящим событиям, не может воспринимать их критически, отличать ложь от правды, добро от зла – но при том он отнюдь не лишен совести. И потому за каждым промахом следует путь искупления, осознания, возвращения, сравнимого с возвращением блудного сына. Возвращение героя в родные края после долгих лет странствий – это вообще

излюбленный Воробьевым сюжетный ход. Родное место – это то, что тебя породило и перед чем ты должен отчитаться.

Повесть «Почем в Ракитном радости» звенит – как 50-й псалом Давида. Мальчишка-селькор обличает в районной газете своего родного дядю по отцу, укравшего в колхозе мешок жмыха. Потом, столкнувшись с этим обличенным дядькой на берегу реки в половодье и просто смертельно перепугавшись – наломает сейчас бока! – оступается и падает в воду. Из воды его вытаскивают деревенские женщины, а пока он лежит в больнице с воспалением легких – дядю, «злостного вора и кулака, который хотел утопить в реке смелого селькора», – приговаривают к расстрелу. Из мальчишки же спешно делают героя... Однако он сразу понимает: герой – это не про него, про него – совсем другое. После того, что произошло, ему остается только бежать из родного села, от людей, среди которых он вырос. Мать сама собирает для него узелок, в котором – зипун, лапти и картофельные чибрики. «Смелый селькор» вернется в Ракитное через 25 лет, пройдя войну, немецкий плен и затем – за плен! – наш советский лагерь. Примечательно то, что сознание содеянного греха помогало ему выносить самое тяжелое – как искупление:

«Вот тогда-то, Кубарь^[7], я и почувствовал себя виновным. Виноватым перед Ракитным, перед дядей Мироном. Мертвый, давно расстрелянный, он встал передо мною, как искупление и возмездие <...>. Я почти легко перенес свой лагерь, потому что, когда сдавал, дядя Мирон – он днем и ночью незримо стоял в двух шагах от меня – спрашивал:

– Ну как, селькор? Не удалось схомячиться?

– Ничего, – отвечал я, – ты не беспокойся, я вынесу. Всё вынесу. И даже то, что вынес ты – расстрел. Ты не беспокойся.

– Ну-ну! – говорил мне незримый дядя Мирон.

Так я зарабатывал себе его прощение».

Но как встретят бывшего селькора – теперь уже известного писателя – его земляки? Что он найдет в Ракитном? Живого дядю – это во-первых: расстрел, оказывается, заменили «десяткой», потому что в тайге нужны были рабочие руки. А во-вторых, в этом простом старом крестьянине, прошедшем столько мук, бывший его предатель найдет прощение и любовь.

Синелью на курской земле называют василек. Сергей, юноша из рассказа «Синель», дает такое имя своей любимой. Она комсомолка, студентка, отличница, активистка... И никто, кроме него, не знает, что ее семья была раскулачена. Точнее, раскулачили ее отчима, их с матерью не тронули, но ведь имеет же она к этому своему отчиму какое-то отношение... И здесь – та же драма: есть в человеке совесть, честность, прямота, есть истовое желание, чтоб всё было «по правде»; но есть и другое – заидеологизированные мозги, идейная глупость или наивность – как хотите называйте. Сергей убеждает любимую в том, что она не должна ничего скрывать от комсомола и партии; что историю с раскулачиванием отчима нужно рассказать честно и без утайки. При этом он совершенно уверен, что никакие репрессии его любимой не грозят – все ведь поймут, что она сама не виновата ни в чем! Разве только в том, что струсила и вовремя не рассказала – выговор, не больше... Но Синель – Даша – понимает, какой «выговор» ей грозит и в ужасе бросает институт, бежит из города, спасается от «сознательного» любимого. И за этой драмой тоже следует долгая дорога искупления – и поздняя встреча бывших влюбленных как знак прощения.

В рассказе «Ермак» мы снова встречаемся с наивным активистом коллективизации – мальчиком Петькой:

«И три дня я почти не ночевал дома, свозя добро раскулаченных в сельский кооператив. С этим делом я справлялся легко и радостно, – в моей жизни мало было развлечений, захватывающих дух, – разве только качели?».

Юный Петр – пионер в буденовке – участвует в раскулачивании человека, которого любила его мать и который, на самом деле, был его отцом (здесь – эхо личной судьбы писателя). Раскулаченный Ермак бежит из села на шахты – так тогда делали многие, – а потом они с главным героем встречаются в партизанском отряде: Петр – прикомандированный к отряду армейский лейтенант, Ермак – командир. И только здесь главный герой, наконец, понимает и то, что Ермак – его отец, и то, что он – не враг, а настоящий русский человек, из тех, благодаря которым Россия победила врага. И отец погибает на глазах у сына.

На Ермака очень похож герой повести «Мой друг Момич». События, происходящие в ней, мы тоже видим глазами подростка – сироты, которого воспитывает тетка. Тетка, Татьяна Егоровна, или Егориха, как зовут ее в деревне, – добросердечная, работающая и веселая женщина не робкого десятка, несколько, может быть, наивная и мечтательная, но разумная и прямая: в ней угадываются черты мамы писателя Марины Ивановны. Момич, он же дядя Мося, Максим Евграфович Мотякин –

крепкий, умный зажиточный мужик, сразу понимающий, что от новой власти хорошего ждать не надо. В этой повести присутствует тема духовных корней народа, веры, унаследованной им от предков. Мальчик Санька не ходит в церковь, полагая, что там не слишком интересно, и не испытывая благоговейного трепета. Этот трепет, этот безотчетный страх – воистину страх Божий – он впервые переживает, когда его позовут грабить и ломать сельский храм:

«Я ощутил колючий холод, свою заброшенность и страх – и снял шапку. Митяра обернулся ко мне и шепотом сказал:

– Зараз иконостас будем ломать.

В церкви зашелестело, как рождь под ветром, и я кинулся прочь...»

Тетка Егориха – ангел-хранитель Санькиного сиротского детства – вместе с другими женщинами попытается защитить церковь от погрома, заставить погромщиков вернуть на место сброшенный крест – и погибнет: уполномоченный Голуб застрелит ее только потому, что она не побежала, когда бросились от него, конного, бежать все остальные. Момич, втайне любивший убиенную, и Санька, теперь уже окончательно осиротевший ее воспитанник, хоронят Татьяну под деревом, которое кажется «маленькой церковью с куполом без креста». Максима Евграфовича раскулачивают и увозят, но он уходит с места поселения. Уходит, чтобы отомстить – и убивает уполномоченного Голуба. Потом долго скрывается, как-то умудряется получить паспорт на чужое имя... Санька, пережив беспризорство и детдом, встретит своего друга Момича во время войны, в Белоруссии:

«– Всё носишь обиду?

– Надо б, да не на кого. Кабы оно не на наших дрожжах то тесто взошло. Ведь не германец же с туркой греб нас?»

Да, германец пришел позже и повесил старого «Бобра» (так называли Максима Евграфовича в округе – по ложной фамилии Бобров. – М.Б.) за связь с партизанами...

Здесь необходимо сказать о писательской судьбе Воробьева в советские годы – а до этих он, напомню, не дожил. Это было

*Памятник Константину Воробьеву в Курске,
работа Владимира Бартенева*

истинное мученичество! Не только при жизни, но и после смерти память об этом русском писателе, воине, страстотерпце – пытались выкорчевать как сорную траву:

«Писать невозможно. Как только я сажусь за стол, за моей спиной незримо встает редактор, цензор, советский читатель, “просто человек”, пишущий на меня жалобы в ЦК...» – это дневниковая запись 1971 года.

Первая часть повести «Это мы, Господи!...», написанная, как ни странно звучит, еще в оккупированной Литве (так велика была потребность 25-летнего автора рассказать о пережитом), отправленная в «Новый мир», света не увидела.

«И лишь в 1986 году, – пишет дочь писателя Наталья Константиновна в своем очерке «Самостояние Константина Воробьева», – аспирантка Ленинградского пединститута Ирина Владимировна Соколова обнаружит эту повесть в Центральном госархиве литературы и искусства СССР, куда ее сдал в свое время журнал “Новый мир” вместе с другими архивными материалами. Какое счастье, что на свете есть такие пытливые и дотошные аспирантки! А главное прекрасное подтверждение тому, что рукописи не только не горят, но и не исчезают бесследно. И повесть все-таки пришла к читателю».

Повесть «Друг мой Момич» тоже была опубликована после смерти автора^[8]. Повести «Крик» и «Убиты под Москвой» были опубликованы в 1961 и 1963 годах. Но, во-первых, при публикации «Крика» в журнале «Нева» Воробьева принудили изменить финал на более оптимистичный (герой приходит в себя не в плену, а в нашем госпитале), а во-вторых, обе повести вызвали просто шквал «высокоидейной» патриотической критики: как же так, вместо «героизма и мужества советских людей» – трагедия их гибели?..

Литературный критик Виктор Боченков в своем очерке «Мужество быть одиноким»^[9] приводит массу ругательных рецензий, которые могут быть объяснены только глухотой к живому воробьевскому слову, к его глубинной поэтике. Словом, Воробьеву было, от чего отчаяться. Но он оставался безусловным патриотом России^[10].

«Кузнецов, стало быть, не любил Родину, – пишет он в записной книжке об известном писателе-диссиденте, – и свой народ. Я и без него знаю, что написать три антисоветских романа при пяти верноподданнических значительно легче, чем написать один “возможный” к публикации “Чертов палец”. Я знаю это потому, что положил жизнь на это. Еще бы! Пожалуй, за “Момича” и за “Это

мы, Господи!” я получил бы там денег больше, чем Кузнецов, но...»^[11]

Да, абсолютно не умеющий приспособливаться и играть какую-либо роль, Воробьев был крайне неудобен – и при жизни, и после смерти. И не просто неудобен: знакомясь с его биографией, я не раз удивлялась, как его не посадили – хотя бы за его письмо в защиту Солженицына, отправленное в «Литературную газету» в 1972 году; там ведь есть слова о «миллионах и миллионах лучших русских людей, погибших в застенках ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ...»

Однако всегда были люди, любившие его и понимавшие, кто он такой. Галина Огорокова рассказывает о создании дома-музея писателя в его родном селе:

«Примерно году в 1978-м первым сказал о писателе Владимир Павлович Детков, бывший в ту пору ответственным секретарем Курской областной писательской организации. Он приехал в Медвенку, на встрече с первым секретарем райкома Леонидом Андреевичем Чупрыниным высказал предложение о создании музея К. Воробьева в селе Нижний Реутец. Надо сказать, что Леонид Андреевич был человеком необычайно порядочным, интеллигентным, грамотным. Он, безусловно, понимал, какому риску подвергает себя, давая согласие на подготовку материалов для будущего музея. Дело оставалось за руководителями колхоза им. Жданова. С честью выдержали все испытания председатель колхоза Виктор Иванович Разиньков, секретарь парткома Надежда Григорьевна Воробьева. Надежда Григорьевна на своем стареньком “Москвиче” привозила-увозила в течение нескольких месяцев художников-оформителей из Курска. Мы написали десятки писем во все архивы, в Союз писателей Литвы, обратились к родным писателя. Медленно, но дело шло...»

Вера Воробьева и Виктор Астафьев в пос. Медвенка Курской области на празднике в честь К. Д. Воробьева

Разумеется, остановиться на каждом произведении Константина Воробьева здесь невозможно... а жаль – ведь в каждом его рассказе, в каждой повести живет своя, особая заповедная красота и свои неповторимые лица. Можно ли забыть мальчика Трофимыча из рассказа «Первое письмо» – с его неподдельным крестьянским самоуважением и внутренней чистоплотностью! Или девочку из рассказа «Настя», или героиню рассказа «Костяника», или мальчишку, спасающего птиц, из рассказа «У кого поселяются аисты». Или двух названных братьев-детдомовцев, так и не сумевших расстаться во взрослой жизни – рассказ «Генка, брат мой». Свой творческий принцип Воробьев сформулировал в рассказе «Картины души», герой

которого – художник Грачев, в прошлом тоже фронтовик и пленник:

«И писать книги, и рисовать картины надо мягкими теплыми тонами. И чтобы сердце обязательно знало и любило то, о чем ты хочешь сказать. Только тогда возможно помочь читателю или зрителю восхититься самим собой как человеком...»

Дом-музей Константина Воробьева на его родине

Дом-музей писателя Константина Воробьева в селе Нижний Реутец. Интерьер

«Сегодня, читая повести отца, – пишет дочь писателя Наталья Константиновна в очерке «Самостояние Константина Воробьева», – я диву даюсь, как ему удалось не растерять, пронести сквозь все невзгоды и несчастья, сквозь все житейские передрыги и жесткий диктат цензуры это родниковое, исконно русское слово, этот удивительный мягкий южный говор, эти благословенные диалектизмы, за которые так били нещадно, так хлестали отца издатели и критики всех мастей. Как будто сама Курская земля доверила крестьянскому голенастому мальчишке, так и не познавшему отцовской ласки на своем коротком веку, заповедные свои тайны и отдала их ему на сохранение. И ведь не ошиблась в выборе...»

В подтверждение слов Натальи Константиновны хочется привести цитату из повести «Сказание о моем ровеснике»^[12], главный герой которой, крестьянин Матвей Егорович, во время Гражданской войны спасает от гибели младенца, сына красноармейца Алексея и Катьки-пулеметчицы, и затем воспитывает его как родного внука:

«Ровным усыпляющим шепотом, не отнимая своей ладони от Алешкиной макушки, Пелагея учила его по вечерам разным молитвам, волновала и печалила туманными сказаниями о житии Алексея Божиего^[13] человека. На злых и грустных местах сказа Алешка съеживался в комок, глотая слезы, прерывисто спрашивал:

– Он был... на дедушку похож, да?

– Святой он был.

– А дедушка... нешто не святой?

– Нет, детка, он земной, – неясно отвечала Пелагея и заводила разговор о другом. – Видишь на небушке вон ту белую полосу? – показывала она на Млечный путь. – Это Божия серебряная дорога. Ею ходит Он Сам, архангелы Его и праведные души померших людей – воинов, мирских страдальцев, младенцев.

– А ежели мы с дедушкой... когда потом, нескоро помрем ежели? – тревожился Алешка, вглядываясь в небо через окно».

А сам писатель в письме к редактору издательства «Советский писатель» Виктору Петелину определял свою задачу так:

«Я хочу по возможности русским языком рассказать о том, на чем стояла, стоит и будет стоять во веки веков Русь моя, вопреки всему тому, что пыталось и будет пытаться подточить ее».

Марина Бирюкова

*Автор выражает благодарность Наталье Константиновне Воробьевой
за неоценимую помощь в подготовке публикации*

29 января 2025 г.

[1] Есть версия, что 24 сентября – дата не третьего, а второго побега, в результате которого Воробьев оказался в Шауляйском лагере военнопленных, где сумел связаться с подпольем, удачно бежать и встретить свою будущую жену.

[2] Талантливая актриса и художница Марина Лукашевич (1968–2000) рано ушла из жизни.

[3] Литературный журнал «Подъем», Воронеж, 1994 год, № 1.

[4] В избраннице Константина смешались латышская, русская и немецкая кровь.

[5] Это связано, конечно, с известными строками его любимого поэта: «...будто я весенней гулкой ранью // проскакал на розовом коне».

[6] В своих произведениях Воробьев не раз с благодарностью вспоминал литовцев, которые спасали сбежавших пленных и поддерживали партизан.

[7] Прозвище деревенского мальчишки, к которому мысленно обращается главный герой.

[8] Без купюр; урезанный вариант под названием «Тетка Егориха» был опубликован в Вильнюсе в 1967 году.

[9] «Наш современник» №7, 2020 год.

[10] Именно Россию, а не СССР; слово «советский» в его записках – всегда в отрицательном контексте.

[11] Анатолий Кузнецов (1929–1979), автор романа «Бабий Яр», в 1969 году попросил политического убежища в Великобритании.

[12] Первый раз она вышла под названием «Алексей, сын Алексея».

[13] В оригинале слова Бог, Божий, Богородица и т.д. – со строчной буквы.